

Т. П. ХЛЫНИНА

**СОВЕТСКОЕ ПОВСЕДНЕВЬЕ
В ПРОСТРАНСТВЕ «БОЛЬШОЙ» ИСТОРИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ «МАЛОГО» ЖАНРА**

Историческое познание как особая разновидность освоения человеком окружающего его мира прошло в своем развитии довольно долгий и не лишенный драматических переживаний путь. Его длительность свидетельствовала о становлении истории как определенного типа знания, а драматизм отражал напряженный поиск механизмов его организации и передачи. Обретя статус науки в век торжества человеческого разума и безраздельного господства естествознания, история со временем постепенно утрачивала статус гуманитарного знания, все более претендуя на выражение закономерностей общественного развития. Именно эта «высокая претензия» в конечном счете и послужила одной из причин «несомненного кризиса современной историографии, научные традиции которой формировались еще с эпохи Просвещения и даже с Возрождения, а основы закладывались с античного времени» (1).

Проблема кризисного состояния исторического жанра вот уже не одно десятилетие активно обсуждается в отечественной и зарубежной историографии. Из всего многообразия выделяемых исследователями причин, вызвавших его к жизни и повлекших за собою разнообразные последствия, одну из них следует отметить особо: речь идет об утрате историческим повествованием «вкуса к деталям и подробностям воскрешаемого прошлого». Столь незначительное, на первый взгляд, обстоятельство привело не только к социологизации исторического познания, но и к выхолащиванию самой сути исторического развития, сведенной к выявлению неких универсалий «обще-

Хлынина Татьяна Павловна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований.

ственного бытия». Их незримое присутствие в изучаемой эпохе и закономерная смена в течение долгого времени определяли и продолжают определять собою общепринятый образ прошлого, в пространстве которого «живые люди из плоти и крови» обычно замещаются или «народными массами», или «их выдающимися представителями». В итоге история стала напоминать собою некий монолитный памятник ушедшему времени, где с большим трудом различимы составляющие его части.

Следует отметить, что подобное положение дел никогда полностью не удовлетворяло исследователей, неоднократно пытавшихся обновить сам памятник или дополнить его фактуру. Одной из таких попыток как раз и послужило возвращение истории в лоно когда-то породившей ее филологии. «Теоретический мятеж» в лингвистике последней трети XX в. со всей очевидностью обозначил проблему родового сходства литературного и исторического повествований, одновременно потребовав и выявления их различий. Не претендуя на всеобъемлющее пояснение ее содержательных особенностей, к тому же получивших самостоятельное воплощение в виде «прорывных нарратологических» исследований (2), позволю себе небольшое частное замечание, сводящееся к принципиальной невозможности «оживить» сутобо литературными приемами реальность прошлого.

На родовое сходство истории и литературы обращали внимание еще древние авторы. Уже античная историография понимала, что история представляет собою не просто перечень событий прошлого, а повествование о них. Тем самым предполагалось, а в настоящее время получило повсеместное признание, некоторое тождество в структурировании и изложении сюжетов исторического и литературного свойства. Однако сходство в организации материала не предполагает одинаковости в выборе средств достижения поставленных целей. Историк, в отличие от писателя, не волен домысливать судьбу своего персонажа или изучаемого события, ибо они не плод его творческой фантазии, а порождение реальных обстоятельств недоступного ему времени. Жанровые ограничения неизбежно сказываются и на выборе выразительных средств запечатления прошлого. Ведь недаром «отцом истории» по праву считается основательный Геродот, а не красноречивый Ксенофонт или остроумный Тацит.

Попытки придать историческому тексту занимательный характер, сблизив его с лучшими образцами приключенческой и романической прозы, заслуживают искреннего уважения. Тем более что тяжеловесные описания объективных закономерностей «неизбежного столкновения интересов больших групп людей в процессе смены их производственной деятельности» историю ближе не делают, да и саму «производственную смену», честно говоря, «доступностью понимания» не наделяют. Между тем, существует одно досад-

ное препятствие, не позволяющее в полной мере справиться с поставленной задачей. Таким препятствием служит грамматическая ограниченность переводимых на язык литературного повествования реалий прошлого.

Как бы нам того ни хотелось, историческое событие может быть слышано только в контексте породившего его времени, которое мыслило себя в соответствующих его духу понятиях. Ведь нельзя же всерьез полагать, что смысл отечественного крепостничества полностью покрывает и разъясняет собою такое образование новояза советской эпохи, как «классовая эксплуатация помещиками крестьян». И дело не в том, чтобы привести всю историю к языковым нормам прошлого, а в осознанном понимании невозможности для исследователя вырваться из очерченных ими рамок восприятия произошедших событий. Рамки эти служат тем опознавательным знаком, за границей которого кончается историческая достоверность и начинается автономная от него жизнь литературного повествования с весьма правдоподобным сюжетом.

Посему, прежде чем сетовать на то, «отчего история не литература», следует подумать, к каким последствиям приведет их жанровый взаимообмен и не пострадает ли от него достоверность в истории и «красота слога» в литературе? Представляется, что предметное взаимопроникновение, повлекшее за собою исследовательскую увлеченность междисциплинарностью, интертекстуальностью и прочими пограничными явлениями, не должно разрушать барьеры, отделяющие науки друг от друга. Иначе совершенно непонятно, зачем «воскрешать» бунт Пугачева, если «Капитанская дочка» А. С. Пушкина рисует его психологически более убедительно, чем многочисленные исследования, заведомо уступающие ей в эстетическом отношении. Сотрудничество различных дисциплин не равносильно их взаимозаменяемости, и каждая из них предельно ограничена в своих возможностях.

Прошлое само по себе вполне увлекательно и способно продемонстрировать немало ярких и зажигательных примеров. Так почему же каждый раз, обращаясь к нему, мы всегда ставим перед собою «высокую» цель чему-нибудь у него научиться и непременно научить других? Нельзя ли, вслед за замечательным французским историком М. Блоком, ограничиться при его изучении «утолением интеллектуального голода» и привить это качество своим читателям? Ведь путешествие по лабиринтам прошлого ничуть не уступает приключенческим романам М. Рида или Ф. Купера, необходимо только выбрать надлежащий маршрут и опытного проводника.

Таким проводником, на мой взгляд, и могла бы стать история повседневной жизни советского человека, жизни, «осуществляемой изо дня в день, всегда; бывающей, происходящей всюду и везде» (3). Наглядная и практически неподверженная изменениям, она до определенного времени оставалась в

тени исторического исследования, «изымаясь» оттуда лишь по необходимости в качестве «занимательной картинки» или иллюстративного комментария к законосообразностям общественного развития. Ее выход на авансцену «большой» истории совпал с так называемым «историческим поворотом», повлекшим за собою «живые проявления смены приоритетов в теоретико-методологическом пространстве развития исторической науки и гуманитарного и социального знания на рубеже XX–XXI веков» (4). Характерной особенностью его проявления «на современном этапе развития гуманитарного знания» признается «историчность происходящих изменений в области методологии». Она проявляется в эпохальном повороте против науки об обществе, сформировавшемся в послевоенный период как историографическое направление, оппозиционное традиционной истории; в повышенном внимании к истории как к процессу, как к прошлому, как к контексту, но не обязательно как к научной дисциплине. Наконец, эти изменения способствуют постановке кардинальных вопросов методологии истории, таких, например, как вопрос о предмете истории и его структуре, вопрос «дисциплинарного дискурса и т.д.» (5).

Современный методологический сдвиг с его пристальным вниманием к разнообразным формам человеческой жизнедеятельности в прошлом привел к закономерному раздроблению предметной области исторического познания. Среди его многочисленных «дочерних» ответвлений история советского повседневья только получает свою дисциплинарную прописку. При этом, становясь полноправным участником «большой» истории, она все еще, по образному замечанию современного исследователя, разделяет судьбу «критических периодов» развития нормального знания. Они время от времени появляются на «широком поле исторической науки» и проявляются «в каких-то узких областях, как, например, в модных сейчас гендерных исследованиях или в исследованиях многочисленных привычек и «странностей», составляющих основу истории повседневности» (6).

Следует отметить, что в расхожем обиходе отечественной историографии понятия советского повседневья длительное время не существовало. Его замещало собою более привычное и мало к чему обязывающее словосочетание «история жизни и быта людей того времени». При этом понятие жизни и быта зачастую сводилось к тому, что когда-то обозначалось емким словом «рутина». Согласно толкованию В. И. Даля, рутинa и есть то «безотчетное следование преданию, обычаю», которое и наполняет собою течение всей человеческой жизни (7). Безусловно, верно отражающее содержимое повседневной деятельности человека и общества в целом, оно, тем не менее, плохо передает атмосферу советской действительности. Дело в том, что рутинa не только наследуется, но и остается «приватной» сферой человеческой жизни, неподвластной внешнему по отношению к ней контролю и воздействию. Советский

же человек изначально не был укоренен в создаваемой на его глазах новой действительности, которая к тому же представляла большой интерес для ее создателей.

В этом отношении термин «повседневье» оказывается более предпочтительным, так как указывает не на определенный тип существования, который требует внятно очерченного пространства и противопоставления «не-быту», а на форму этого самого существования, которая может привноситься в любой вид деятельности. Более того, повседневье также регламентировано, как и официальная публичная жизнь граждан, поэтому оно «спокойно» уживается с вторжением в его пространство производственной, политической и идеологической необходимости времени.

Однако если в содержательном плане пространство повседневья оказывается предельно прозрачным и сопрягается с ежедневным, привычным ритмом жизнедеятельности огромного количества людей, то в вопросах понимания технологии своего осуществления оно все еще нуждается в основательном прояснении. Эта основательность относится, прежде всего, к возможностям и тем специфическим задачам, которые решает историческое познание в целом. Насколько оно в состоянии прояснить природу и течение таких слабоформализуемых показателей жизни обычного человека, как его повседневное существование зависит исключительно от умелого взаимодействия исследователя и находящихся в его распоряжении свидетельств минувшей реальности. Однако не все из них обладают достаточным уровнем информированности и способны удовлетворить нашу любознательность. Поэтому зачастую приходится полагаться на исследовательскую интуицию историка, его воображение и эрудицию, при помощи которых вот уже около двух тысячелетий не обходится ни одно проникновение в толщу ускользающего от нас времени.

Вместе с тем, упомянутые в качестве основного содержимого повседневной жизни «привычки и странности» едва ли могли бы претендовать на выражение исследовательской сущности повседневной истории – этого плохо уловимого и неотъемлемого спутника бытия человека. Вероятно, ближе всего к ее пониманию те внимательные слушатели прошлого, которые «стремятся исследовать все стороны повседневной жизни мужчин и женщин: от питания до преломления политической конъюнктуры в судьбах обычных людей» (8). Однако стремление это, зачастую сводящееся к арифметической всеядности, наталкивается на «отсутствие продуманной концепции того, что собственно называется повседневностью» (9). Бытующие в современной историографии пространные определители повседневности сводят ее к двум основным разновидностям или подходам. Внешний подход ограничивает повседневность материальной стороной жизни общества и «вооружает историков некими пер-

вичными данными о жизни “народных масс” изучаемой эпохи». Внутренний подход или «современный, “антропологизированный” вариант истории повседневной жизни исходит из того, что люди активно участвуют в постоянном процессе создания и переустройства структур повседневности, они пытаются “присвоить” и приспособить к себе тот жизненный мир, который их окружает» (10).

В рамках внутреннего подхода обращает на себя внимание исследование «общих мест» повседневной жизни американского слависта С. Бойм, предпринявшей попытку критического осмысления тех мифических представлений, посредством которых скреплялся повседневный быт России XX столетия (11). Определяя жанр и предмет собственного сочинения, автор отмечает: «Эта книга – попытка рассказать о том, о чем принято не договаривать, – о российской повседневности. Недоговоренность будет не препятствием, а предметом исследования. Археология повседневности имеет дело с осколками, отбросами и подводными течениями, и только изредка с затонувшими сокровищами» (12). При этом повседневье относится ею к «хорошо забытому настоящему. Это все то, что избегает анализа, не требует рефлексии и раздумья, а как бы само собой разумеется» (13). Ссылаясь на французского критика и писателя Мориса Бланшо, исследовательница уподобляет повседневье «вечно нулевому пространству», где можно увидеть «длинные промежутки истории, разобраться в мелочах жизни, негероическом повседневном выживании. Здесь ничто не обещает эффектной концовки, окрашенной харизматическим пафосом обреченности» (14).

Вместе с тем, автор усматривает онтологическую укорененность повседневности в культурной памяти общества, где слова и вещи тесно взаимосвязаны и «одна деталь» или «один незначительный предмет» могут вызвать «поток культурных ассоциаций и дать ключ к пониманию явления. Повседневная соринка, подточина дает иное понимание идеологических, экономических теорий. Археология повседневности не лишена случайных прозрений, “профаных эпифаний”, когда в одной детали, сцене из жизни или из романа вдруг отразится, как в капле воды, целый культурный космос» (15).

Собственно говоря, сам процесс становления истории повседневности в качестве полноправного участника постижения прошлого оказался тесным образом связан с «внутренним видением» обычной жизни обыкновенных людей. Его истоки можно обнаружить в многочисленных попытках так называемых «новых историков» «охватить все жизненные аспекты, включая каждодневные основы человеческого существования. Но только в лице германской истории повседневности – *Alltagsgeschichte* – была сделана попытка определить историю повседневности как своего рода новую исследовательскую программу, еще один исторический синтез, подобный тому, что был

предпринят в свое время в Анналах» (16). По заключению многочисленных приверженцев нового синтеза исторического знания, он будет осуществляться на основе смены исследовательских приоритетов: место традиционного пути историка от «малого» к «большому» займет «перевернутая логика исторического построения» – через «малое» к пониманию «большого». «Не статические структуры, а, напротив, динамизм и противоречивая природа радикальных исторических изменений, производство и воспроизводство действительной жизни, где *участники – не только объекты, но и субъекты истории – провозглашаются основой истории повседневности*» (17).

Воспроизводство устоявшегося образа жизни находит свое предельное выражение в «структурах повседневности», – «тех правилах, которые слишком долго удерживают мир в довольно трудно объяснимой стабильности» (18). «Мелкие факты, едва заметные во времени и пространстве», являя собою, по мысли Ф. Броделя, суть повседневности, в своей повторяемости «обретают всеобщий характер или, еще лучше, становятся структурой». Они «распространяются на всех уровнях общества, характеризуют его образ существования и образ действий, бесконечно их увековечивая» (19). Плотное описание этих структур, собственно, и составляет цель изучения истории повседневности, выводящей современную практику историописания на новые этажи познания прошлого.

Преобладание «внутреннего» видения истории повседневной жизни в современной отечественной историографии, ее тесное соседство с изучением истории ментальностей и микроисторическими исследованиями со всей очевидностью указывают на формирование нового направления исторического поиска – антропологической истории, в пространстве которой каждым из отмеченных ее вариантов решаются свои посильные задачи. В этом отношении усилия истории советского повседневья как раз и сосредотачиваются на выявлении «пограничных зон» взаимодействия большой публичной жизни общества и ежедневных стратегий выживания составляющих его социальных групп, классов, этнических и социальных «вкраплений».

Созданные в последние десятилетия отечественными историками и переведенные на русский язык труды их зарубежных коллег по истории советского повседневья свидетельствуют об огромном интересе профессионального сообщества к сюжетам подобного рода. В этом возрастающем интересе подспудно угадывается не столько исследовательская неудовлетворенность сложившимися процедурами постижения прошлого, сколько стремление специалистов понять и прочувствовать те перемены, которые произошли со страной в минувшем столетии. Реализация этого стремления находит свое выражение в смене ракурса освещения прошлого, который как раз и окажется той вспышкой света, в пространстве которой «можно соеди-

нить кратковременные и долговременные исторические циклы, оживить историю и сделать ее многокрасочной, состоящей из лоскутной композиции типа цветных ковриков – пэчворков (от англ. – patchwork)» (20).

Замечательный французский историк Ф. Бродель, подыскивая для себя веские оправдания относительно «включения в сферу исторического изучения повседневной жизни», писал: «Из маленьких путешествий, путевых заметок вырисовывается общество. И никогда не бывает безразлично, каким образом на различных его уровнях едят, одеваются, обставляют жилища. Эти “мимолетности” к тому же фиксируют от общества к обществу контрасты и несходства вовсе не поверхностные. Воссоздавать такие картинки – увлекательная игра, и я не считаю ее пустым занятием» (21).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Мининков Н. А. Методология: пособие для начинающего исследователя. – Ростов н/Д, 2004. – С. 5.
2. Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М., 2003; его же. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков. – М., 2003.
3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1994. – С. 520.
4. Селунская Н. Б. Методологическое знание и профессионализм историка // Новая и новейшая история. – 2004. – № 4. – С. 32.
5. Там же. – С. 33.
6. Феллер В. Введение в историческую антропологию: Опыт решения логической проблемы философии истории. – М., 2005. – С. 37.
7. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1956. – Т. IV. – С. 115.
8. Куприянов А. И. Историческая антропология. Проблемы становления // Исторические исследования в России: Тенденции последних лет. – М., 1996. – С. 372.
9. Кром М. Отечественная история в антропологической перспективе // Исторические исследования в России – II: Семь лет спустя. – М., 2003. – С. 195.
10. Там же. – С. 195–196.
11. Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. – М., 2002.
12. Там же. – С. 10.
13. Там же.
14. Там же. – С. 11.
15. Там же. – С. 21.
16. Соколов А. К. Путь к современной лаборатории изучения новейшей истории России // Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: учебник. – М., 2004. – С. 50.
17. Там же. – С. 51.
18. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: в 3 т. Т. 1. – М., 1986. – С. 38.
19. Там же. – С. 39.
20. Соколов А. К. Указ. соч. – С. 54.
21. Бродель Ф. Указ. соч. – С. 40.